



Трое из эпохи надежды (Грустное предисловие к неизданному сборнику)¹

текст
Анатолий Якобсон

Булат Шалвович. Михаил Леонидович. Юрий Иосифович. Какое, собственно, я имею моральное право писать о Них?

Ответ может быть только один. Это право человека их поколения. И неважно, что двоим из них я по возрасту гожусь в сыновья, а третьему едва ли в младшие братья. Мы одного поколения, потому что была эпоха, в которую мы пересеклись. Они были творцами этой эпохи, именно она стала их звёздным часом, сделала, в свою очередь, их тем, что они есть. Ну а я в эту эпоху был школьником и студентом, и меня она тоже сделала тем, что я есть, и не было в моей жизни более яркого времени – разве что те несколько лет в конце 80-х, когда мы пытались было спеть недопетое в те годы.

Эта коротенькая эпоха называется – Шестидесятые.

Не каждое десятилетие заслужило право называться Эпохой. (Анчаровский Алёша Аносов говорил: «Эпоха – слово серьёзное»). Это – заслужило. И хотя началось оно где-то в конце 50-х, такое имя ему уже присвоено историей. Шестидесятые и шестидесятников можно любить, можно им завидовать, можно ненавидеть. Но отменить их уже нельзя.

Об этом времени и о его людях уже писали и ещё напишут. Я хочу сказать своё.

Итак, было такое время. Ходили в школу, а потом поступали в институт мы – дети уцелевших фронтовиков. Отучившись, отстиляжив, заводили семьи и защищали диссертации блокадные и эвакуационные мальчишки. Возвращались выжившие лагерники. Сносились сталинские монументы. Громко строилась Братская ГЭС. Приезжали в Москву сперва редкие иностранцы, потом был Фестиваль 1957, а дальше – пошло-поехало, хотя и не без присмотра «товарища майора».

Ставились фильмы – и какие фильмы! После «Падения Берлина» и «Кубанских казаков» выплеснулось на экран то, что превосходно и по сегодняшним меркам, – «Судьба человека», «Сорок первый», «Баллада о солдате», «Девять дней одного года», «Каин XVIII», «Застава Ильича».

Счастливым удавалось попасть в «Современник» и на Таганку.

Рвали друг у друга из рук номера «Юности», «Нового мира», да ещё «Иностранки». Ни до, ни после не было, кажется, в литературе такого количества новых имён.

«Литература Шестидесятых» – да и шире, искусство – войдёт в историю пусть не наравне, но на равных правах с Пушкинской эпохой или Серебряным веком. Правда, тут надо оговориться. Литература Шестидесятых – это, конечно, в первую очередь, молодые авторы, да плюс помолодевшие старики – Эренбург, Твардовский, Чуковский, Светлов, Паустовский, Симонов, Маршак. Но её нельзя представить и без тех, кто сами об этом не догадывались, но были, тем не менее, полноправными шестидесятниками: без тех, кто

жили в другое время – Маяковский, Есенин, Грин, Бабель, Ильф и Петров, Шварц – или в другом месте – Хемингуэй, Ремарк, Сент-Экзюпери, Сэлинджер, – но оказались необходимы здесь и сейчас. Впрочем, это случай не уникальный. Если есть понятие «литература Перестройки», то оно почти полностью будет определяться именами иностранцев и «киновременцев».)

Итак, было, было.

А главное – были стихи. Сейчас даже невозможно представить себе, что творилось на вечерах поэзии в школах, институтах, клубах. Мода? И да и нет. Была и тогда своя «попса» (не упомяну, как их звали, тогдашних кумиров), была соответствующая публика...

И именно из стихов вырос жанр, так и оставшийся визитной карточкой Шестидесятых – бардовская песня. (Её называют ещё авторской, самодеятельной, студенческой, туристской. Всё это неточно, и я предпочитаю употреблять слово, которое возникло как журналистский штамп, краснота – «барды и менестрели», – но постепенно превратилось в термин: именно потому, что за ним не стояло конкретное содержание, оно смогло служить своего рода именем собственным, полностью адекватным обозначаемому явлению).

Да, из стихов. В отличие не только от эстрадной песни – и прежней, и тогдашней, и нынешней, в отличие даже от рока, где иногда бывают очень умные тексты, но всё-таки всего лишь тексты, – это были именно стихи, внутренняя природа которых потребовала помимо рифмы и ритма ещё и мелодии. Мелодии очень скромной, не затмевающей стихи, но и такой, что без неё уже и самих стихов нет, и достаточно наиграть одним пальцем «Последний троллейбус», «Кап-кап» или «Ты у меня одна» – и «всё стало на свои места».

И сами барды – прежде всего поэты. Впрочем, мне кажется, что по-настоящему поэтом всегда оставался тот из них, кто формально в наибольшей степени был прозаиком – Анчаров: на самом деле он не написал ни одной прозаической строчки, все его повести – это одна сплошная песня. В прозе Визбора тоже явственно различаются аккорды гитары и отсветы костра, но проза Визбора сама по себе куда менее заметна. Что касается Окуджавы, здесь, как мне думается, иное. Конечно, поэт Окуджава и романист Окуджава – одно и то же лицо, но я (что, конечно, плохо говорит только обо мне) этого как-то не ощущаю, не слышу поэзии в его романах. Да не так уж это важно, романистов много, а Окуджава один.

Однако я не литературовед и не критик. И я лучше буду говорить об их (и моём) времени. Да и нельзя говорить об этих поэтах в отрыве от времени. Таковы уж они. Бывают поэты, и великие, которые спрашивают: «Какое, милые, у нас тысячелетие на дворе?» А этим подобный вопрос никогда в голову не приходил. И читателю (слушателю) не придёт в голову спросить: а

1. Статья была написана в 1994–1995 гг. в качестве предисловия к сборнику прозы М. Анчарова, Ю. Визбора и Б. Окуджавы, запланированного к изданию Восточно-Сибирским книжным издательством. Инициатором проекта был Виталий Камышев, составителем сборника – Вадим Шерстов. По каким-то причинам издание не состоялось.

на какую, собственно, войну ушёл Лёнька Королёв? Как оказался майор десантных войск Н.Н.Зятьёв под городом Герат? «Цветы середины столетия» – какого? Что за «четыре года»? Нет, всё очень точно: «попозже, чем звон бубенцов, и пораньше, чем пламя ракеты», «проходя, эй, постой, вспомни сорок шестой!», «послевоенный, над верёвкой, волейбол»... А если вроде бы и нет даты, то вот же она: и в синей маечке-футболочке, и в полужёстких креплениях, и в чьей-то радиоле, наигрывающей твист. А то, что Окуджава любит визиты в другие эпохи, то, во-первых, – это тоже следствие обострённого чувства времени (кто хорошо знает и любит своё, тот обязательно будет стремиться постичь и чужое), а во-вторых... И в Римской империи времени упадка его юношам снятся то скатка, то схватка. А Александр Сергеевич прогуливается по сегодняшней Москве.

Кстати, у наших поэтов и в пространстве точнейший адрес – именно Москва («Москва – это не гостиница для туристов, а мой родной дом, и у себя дома я всё понимаю, кроме себя самого»). И даже точнее – Арбат, Благуша, Сретенка. Господи, ведь сотни раз поднимался я на эскалаторе метро «Арбатская», и всегда возникало, помимо воли: «Ах Арбат, мой Арбат...» Дело, конечно, не в Арбате и не в Москве, у Городницкого, например, это Ленинград, но адрес всё равно есть. И если Визбор, подобно многим другим бардам (хотя бы тому же Городницкому), мотается по географии, как Окуджава по истории, Сретенка его ждёт.

Так вот, о времени. Если историк захочет найти ключевое слово эпохи, пусть полистает Окуджаву. Не самое ли у него любимое слово (и имя) – Надежда? От Нади-Наденьки и товарища Надежды по фамилии Чернова, от той, кому адресован «Сентиментальный марш», и той, у которой остаются ещё на Земле сыновья, через Надежды маленький оркестрик, через новую, прекрасную встречу с Надеждой, которая проживает всё там же, к горестно-оптимистическому «что делать – Надежда была». Слово сказано. И, честное слово, лучшего здесь не найти (есть ещё, правда, эренбургская «Оттепель», но, по-моему, «Надежда» – точнее).

Поймут ли ту Надежду мальчики других поколений? Поймут ли, в чём она коренилась?

Один корень назывался – Победа. Все шестидесятники вышли из Войны и из Победы. Конечно, Война была Великая и Отечественная, но прежде всего она была просто Война (когда говорили о какой-то другой войне – тогда появлялись определения). Не было жуткой аббревиатуры «ВОВ», не было казённого словечка «ветераны». Были фронтовики. А фронтовики – это и Окуджава, и Анчаров. И Слуцкий, Василь Быков, Тендряков, Межиров, Друнина, Некрасов, Бакланов, Борис Васильев, Балтер, Левитанский, Самойлов, Розов, Дмитрий Сергеев, Марк Сергеев, Сидур, Неизвестный, Гердт, Юрий Никулин, Папанов, Чухрай... (Просто перечислять эти имена – как чудесной музыкой наслаждаться). Они выжили. Что они чувствовали тогда, в 45-м? И что чувствовали мальчишки, дождавшиеся и не дождавшиеся отцов? (И среди них – Юрка Визбор...) Того воздуха хватало и нам, родившимся после Войны. Папа, молодой, самый сильный на свете – фронтовик, а на доме – чёткая надпись: «Проверено. Мин нет». И если кто-то рядом бросит «жид», то ясно, он фашист, он из тех, кого папа победил, и как это он смеет в нашей стране что-то квакать! Ну разве может теперь не наступить жизнь совсем хорошая?

Но те, кто постарше, имели время и возможность протрезветь от хмеля Победы. Как после первой Отечественной невозможно было хлебнувшим этого хмеля жить с крепостным правом и самодержавием, так и новых победителей – тех из них, кто был посообрази-

тельнее или, к своему несчастью, поинформированнее, – душило смутное ли, ясное ли понимание того, что после Победы над фашизмом нельзя так жить.

И тут грянул XX съезд, прорезался ещё один корень Надежды. Пришла Свобода (или то, что казалось Свободой, но ведь глоток в пустыне имеет больше права называться водой, чем сам Байкал). Всё сходилось!

Ну, не совсем всё. Оставались неясности: Троцкий и Бухарин, раскулачивание и вредители. Но это было как с классической физикой в XIX веке: всё по Ньютону, осталось решить парочку проблем, и мир опять станет ясным. Да и то сказать, неясности оставались в официальных версиях, а добрым людям было очевидно, что сталинизм начался не в 1934, а раньше, как понятно было и то, что с ним не покончено. Но всё это укладывалось в единую картину мира.

А что же это была за картина? Что же был за третий, самый мощный корень Надежды, для которого два других служили подпиткой, подпоркой, чтобы не было в нём никаких сомнений? Внимание: я сейчас буду произносить неприличные слова. Революция. Ленин. Коммунизм. Вот откуда произрастал этот корень. Вот во что верили и на что надеялись шестидесятники.

Выкладываю перед мальчиками других поколений серьёзнейшее вещественное доказательство. Это из «Теории невероятности».

– Мою песню пьяным не поют...

– Про любовь? – спросил Володя.

– Про любовь.

Поэт опять взял простой и спокойный аккорд и сказал отчётливо:

– Вставай, проклятьем заклеймённый, весь мир годовных и рабов.

Володя откинулся.

– «Интернационал»... – сказал он.

– Ага, – сказал поэт.

– Это серьёзная песня, – сказал Володя и тяжело сглотнул.

Поэт кивнул.

– Про любовь... – сказал Володя.

Потом он заплакал...

И ещё, оттуда же:

«К детям и вождям обращаются на "ты" – не обижайся... Я не знаю, большой я поэт или маленький, но, клянусь тебе, я верный... Потому что ты всегда был главный, но никогда не один... У меня есть знакомая девочка... Она подрастёт, встретит своего человека, и, может быть, от них пойдёт племя счастливое... Я не умею подталкивать сзади, но я умею приманивать к тому, что вижу впереди... А впереди я вижу тебя. Ты мне веришь?»

Это Гошка, любимый анчаровский герой – перед портретом Ленина.

Таких явных вещдоков у наших поэтов наберётся не так уж много, но будьте уверены, эти взгляды и мысли были и их взглядами и мыслями, они вообще типичны для Шестидесятых (я не говорю о Синявском, Бродском, Солженицыне, но их и к шестидесятникам отнести трудно: время то же – менталитет другой).

Да и с происхождением у шестидесятников не всё в порядке. Не только Окуджава и Визбор, но и Трифонов, Тендряков, Аксёнов, Ким, Балтер, Евтушенко и многие другие вышли из семей коммунистов, участников Революции и Гражданской войны, зачастую очень крупных, как правило, репрессированных.

Итак, состав преступления налицо. Остаётся вынести приговор. Одно из двух. Либо по-куняевски, по-солоухински: осиновый кол им всем, погубителям России. Либо по-либеральному: выслушав (вырвав) чистосердечное раскаяние, сделав скидку на время, простить и даже пожалеть – но не более того.

И всё? Третьего не дано? А если задуматься вот над чем: какова всё-таки в действительности связь между пламенным большевиком Шалвой Окуджавой, который не щадил врагов Революции и не был пощажён её врагами, молодым Булатом Окуджавой, певшим о комиссарах в пыльных шлемах и вступившим в КПСС, и мудрым, печальным Булатом Шалвовичем?

Чтобы разобраться в этом, придётся копнуть ещё глубже и извлечь главный корень. Я бы назвал его очень просто - Добро. Или, говоря современным скучным языком, Общечеловеческие Ценности. То, что придаёт святость всем Заповедям и Проповедям (не наоборот!) и без чего они годятся лишь для муштровки нерассуждающих исполнителей и сжигания еретиков. Совесть, благородство и достоинство. Любви счастливые моменты и Любовь, застывшая на века. Истина, которая рядом живёт, рядом поёт, всё ждёт, ну когда же откроют её. Вот о чём пели барды, вот о чём вся литература и кинематограф Шестидесятых.

Но совместимо ли всё это с теми неприличными словами? Или Лёнька Королёв, Гошка Панфилов, Серёга Санин были ярыми антикоммунистами? А если нет, может, их надо послать подальше вместе со всяческими пережитками социализма, а заодно и с политически незрелыми авторами? Или связь времён считать случайной? Ну было, было, мол, и у подлецов рождаются порядочные дети, и умным людям свойственно в юности заблуждаться... Нет, не проходит. Статистика не позволяет. Она говорит на своём точном языке: очень высокая корреляция, заставляющая предполагать причинную связь.

Ой, не надо каяться моим поэтам. И не случайно произошёл Булат Шалвович от мудрых тех комиссаров и комсомольских богинь (хотя, ясное дело, это утверждение не опровергает ни факта существования комиссаров-палачей и их развесёлых подруг-садисток, ни прямой линии от них до райкомовских харь, преуспевающих нынче в бизнесе или тоскующих по Сталину).

А мир той веры не менее реален, чем тот, который описан в «Окаянных днях» Бунина и «Красном терроре» Мельгунова. (Так мир Евангелий куда реальнее того, что на самом деле происходило тогда в Иудее). Не будь он реален, не было бы мальчиков, с которых расписки за винтовки взяли писаря, и девочек, раздаривших платица белые сестрёнкам своим. И не было бы команды от зари до зари в рай пропускать десант, и танка, который не смог наступить на куклу. И было бы некому потом восклицать, друг другом восхищаться. И лыжи бы у печки не стояли, и не молчал бы устало, неизвестно о чём, милейший механик, начальник дорог (наверняка член партии). И кто бы тогда научил нас Добру?

Только не надо поддаваться соблазну, зачислять шестидесятников в верные слуги тоталитарной системы. Нет, не в системе они были. Вернее, не в этой системе. И поделом доставалось им и от Хрущёва, и от Суслова. Потому что очень по-разному понимали они те различные слова. И разные были у них системы. И в системе шестидесятников неприличные слова увязывались с Общечеловеческими Ценностями куда убедительнее, чем в тоталитарной – с «ценностями» официальными. Точно так же не только Радищев и Герцен, но даже Лермонтов и Чехов были врагами «своей» системы, врагами тех, кто олицетворял тогда Россию, и они же были истинными патриотами России, они её оправдание перед историей.

И Надежда шестидесятников – это надежда на то, что, вопреки безумным султанам, осуществится мечта тех комиссаров и установится в мире Добро. И не только наша страна жила тогда этой надеждой. Парижские и западноберлинские студенты выходили на демонстрации с портретами Ленина и Че Гевары. А сам Че, бородатый рыцарь с астмой и обнажённой совестью, где-то в

джунглях очередной страны Латинской Америки делал революцию. И волновались студенческие городки Соединённых Штатов, требуя вывода войск... нет, не из Афганистана – из Вьетнама, и шли по Алабаме и Миссиссипи белые и чёрные борцы за гражданские права (да-да, всего полвека назад в бастиионе демократии за них приходилось бороться!). А в Чехословакии бушевала Пражская весна, и во главе её стоял Первый секретарь компартии...

Но весна сменилась осенью. Где был нанесён самый страшный удар по Надежде? В Париже, в Праге, в Москве? Или в Чили, где Надежда ещё дотлевала, когда европейские бунтари, насмерть перепугавшие обывателей, частью остепенелись, частью превратились в обыкновенных бандитов, а в раздавленной Чехословакии слова «красный» и «русский» стали ругательными... А у нас уже замелькали новые славословия, уже сидели в лагерях и психушках те, кто в 1968 вышли на площадь, и кто их защищал, и кто защищал защищавших, и уже были изгнаны Галич и Некрасов...

Заморозки были долгими, и те, кто при них формировался, росли уже без той Надежды. Возможно, они были умнее восторженных котят с вечеров поэзии, с бардовских концертов, из турпоходов. Нет, наверняка умнее. И им было труднее. Не было больше безоговорочных кумиров. Кто-то уходил в церковь, кто-то учил иврит – то и другое в Шестидесятые было ни к чему. Кто-то собирал информацию для «Хроники текущих событий», а потом получал срок. Кто-то формировал новую эстетику – эстетику рока, концептуализма и прочего андеграунда. Кто-то спивался. А кто и просто жил – растил детей, читал книжки, честно (или не совсем честно) делал карьеру.

А шестидесятники... Очень по-разному прожили они эти холодные годы, воспрянули было в Перестройку («На улицах Москвы Надежды голос слышен...»), но время было уже не их. (То есть не наше, не моё). Да и их (нас) поубавилось. Из кого жизнь успела выбить Надежду, а кто... Сказано: «Вместе с Юрой Визбором кончилась эпоха, время нашей юности, песен и стихов...»

Да, но мы-то ещё живы! Может, не кончилась? Пережила формальный конец шестидесятых, пережила 1968, пережила Чили, пережила – в наших душах, в ночных разговорах, в Грушинских фестивалях – застой и перестройку? Глядишь, переживёт своих создателей, нас переживёт?

Нет. Вряд ли. Я знаю точную дату, если можно так выразиться – коряво, но точно, – окончательного окончания этой эпохи, конца Надежды: 22 августа 1991, когда толпа в Москве кинулась сносить памятники, как бы специально, чтобы сохранившие наивность шестидесятники уяснили – победа накануне была победой над ИХ врагом, но это не была ИХ победа.

Хорошо ли, плохо ли – эпоха кончилась. Шестидесятники, живые и мёртвые, сохранившие хоть часть того духа или напрочь отрёкшиеся, стали историей. Они так же беззащитны, как, например, Маяковский. Их очень легко ругать. Даже призыв «Возьмёмся за руки, друзья!» можно объявить противоречащим цивилизованному капиталистическому индивидуализму. И объявляют.

Но – «что делать, Надежда была!»

И вы, мальчики и девочки других эпох, можете махнуть рукой, можете любить других. Но если вдруг, когда-нибудь вы почувствуете, что вам чего-то не хватает, – попробуйте прийти к поэтам Надежды. И, чем чёрт не шутит, может быть, именно «тогда опустеет Париж...»

Ибо сказано:

Уходя, оставь свет –

это больше, чем остаться!